

Мэл Зикс



Сон, обсидиан и зверь

Ткань

Мэл Зикс

Сон, обсидиан и дверь

«Автор»

2026

Зикс М.

Сон, обсидиан и дверь / М. Зикс — «Автор», 2026 — (Ткань)

Видели вора? Виктор Воронов видит нити, из которых соткана реальность, — поэтому он первый, кто заметил подмену. Древние реликвии исчезают из-под охраны Ателье по всему миру. Лиссабон, Екатеринбург, Шанхай, Новосибирск — везде одно и то же: пропажа и чёрный камень на месте украденного. В камне нет ни одной нити. Он не чёрный. Он пустой. Кто-то вырезает вещи из мира, как вырезают картинку из книги. Его называют Фиолетовый вор. Лица не видел никто, его плетений — тоже. Но вор работает сразу в трёх городах одновременно. Чтобы понять, чего он ищет, Виктору придётся спуститься в мир снов и говорить с тем, кто заказал эти кражи. Тот согласен говорить только с равным — и он скажет Виктору то, что в Ателье предпочли бы не слышать: вор не тот, за кого его принимают. Восемь артефактов. Восемь краж. Восемь глав детской книжки, которую никто не читал всерьёз. И одна нить, которая держит явь и сон вместе. Кто-то очень терпеливый уже тянет за неё.

© Зикс М., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1	5
Глава 2	8
Глава 3	12
Глава 4	16

Мэл Зикс

Сон, обсидиан и дверь

Глава 1

Ателье пахло деревом, лаком и сухой пылью — той, которая заводится только там, где вещи лежат подолгу и никто не берёт их в руки.

Виктор снял пальто, повесил на гвоздь у двери — вешалок в подсобке не водилось — и прошёл к своему столу, у окна. За стеклом моросило. Ноябрь — самый честный питерский месяц: ни зима, ни осень, а сплошное ожидание. Три недели после того вечера. Мир, как и обещал инспектор, не рухнул. Рухнул только график Виктора, и потому он сидел здесь, в чужом здании с чужими замками, и делал то, за что ему платили.

Эксперт по орнаментам. В трудовой книжке такого не пишут, потому что никакой книжки у Виктора в Ателье не было — была карточка доступа и договор на три страницы, где его называли «внештатным сотрудником». Специалист — это когда ты один видишь то, чего не видят другие: не просто узор, а то, как этот узор сплетён. Портные умели читать орнамент, как читают ноты. Виктор не так давно обнаружил, что слышит, как он звучит. Но ещё набирался опыта. Ему, как истинному художнику, хотелось видеть весь спектр, а не только оперировать обрывками чувств. Он хотел видеть, слышать и чувствовать правду, скрытую от большинства глаз.

Виктор разложил инструменты — лупу, пинцет, мягкую кисть, которой смахивал пыль с мест, где ей быть не полагалось, — и оглянулся на стол.

Обломок ждал его там, где Виктор оставил его вчера.

Он был невелик, с ладонь, и в описи значился сухо: «фрагмент камня с орнаментом, порода не установлена». Тёмный, как обсидиан, — но не просто тёмный: камень был огранён. Плоские грани сходились к одному ребру, будто по нему прошла не природа, а рука. На ощупь он был холоден, как металл, по краям бежали тонкие трещины. Изнутри исходило блеклое фиолетовое свечение.

Виктор надел лупу — привычно, на один глаз, как ювелир, — но смотрел не только через неё.

Он переключился.

Мир послушно разошёлся на нити: стены, пол, стол, собственные пальцы — всё предстало сплетением, в котором узнавались и опыт прежних хозяев, и привычки, и случайные следы чужих рук. Обычный шум Ткани. Ателье умело его прятать: настоящие вещи здесь держат в комнатах без окон, где нити не блуждают и не путают.

Обломок не шумел. Он наигрывал мелодию.

Виктор приблизил его к свету и наклонил.

Всё сплетение шло по нему — ни одной пропущенной борозды, ни одного праздного узелка. Портные, работая с реликвиями, оставляют след: где подновили, где прихватили лишним витком, где поспешили. Здесь не было ничего. Обломок был сплетён так, будто его не чинили и не ткали вовсе, а вырастили.

И хуже того — он был сплетён настолько сложно, будто был из органики.

Виктор знал цену этому слову. Орнамент можно выткать любым узором: цветком, вензелем, зверем, если хватает воображения. Живое ткать нельзя — во всяком случае, нельзя по-настоящему. В Ателье об этом говорили коротко: сплести живое сложно, а вот коснуться живого — легко; и потому ни один портной не станет ткать то, что дышит, себе в убыток. Природа такого не прощает. Здесь же по камню шло не подобие цветка, а подобие мышцы: пучки,

тяжи, тонкие волокна, сходящиеся к одному месту и расходящиеся от него, как расходятся жилы от сердца. Если долго смотреть, можно было проследить, куда что течёт.

Виктор поймал себя на том, что читает обломок как анатомический рисунок. И ещё на том, что боится дочитать до конца.

Он отложил лупу и потёр глаза, будто это могло помочь. Не помогло.

— Что в тебе такого, — сказал он тихо, не дожидаясь ответа.

Обломок промолчал.

Виктор снял с гвоздя папку поступления — в Ателье любили бумагу, и каждую реликвию заводили дважды: электронно и на картоне, чтобы, как говорил Михаил, вещь помнила не только про себя, но и про то, что о ней записали. Он открыл карточку.

«Фрагмент оправы. Поступление от 12 октября. Найдено на Пёстром пласте, близ южной границы. Доставлено в составе партии реликвий».

Далее шёл номер.

Партия 8.

Виктор перечитал его дважды, будто от этого могло получиться другое число. Не получилось. Восьмёрка стояла в карточке своим честным, закруглённым боком — просто номер, каких в архиве десятки, порядковый знак ящика, в котором обломок приехал с Пёстрого вместе с прочей мелочью.

И всё же он задержал на ней палец.

Восемь. Ресторан Восемь. Восемь человек с золотыми нитями — так сказал вампир, и Виктор был среди них восьмым. Мир был полон восьмёрок, как всякий мир полон тех чисел, на которые человек решил обращать внимание. Совпадение? Порядковый номер?

Он закрыл папку, но палец ещё секунду оставался на картоне.

Потом он вернулся к столу, взял кисть и смахнул с обломка пыль — плавно, почти извиняясь. Раз под ним красовался орнамент, его надо было видеть.

И переключился снова.

Вот сплетение. Вот тяжи. Вот место, где они сходятся, — тот узел, что Виктор отметил сердцем, потому что другого слова у него не было. Он подался вперёд, прищурился, лоя, куда ведёт течение волокон...

И течение дрогнуло.

Не колыхнулось от движения воздуха, не сместилось от света лупы — дрогнуло будто зрачок, когда на него смотрят. Тяжи перекатились, волокна потянулись, узел в середине орнамента раскрылся навстречу Виктору, все свои пряди развернув в одну сторону, — туда, где он стоял.

Обломок смотрел на него.

Не «казалось». Виктор видел Ткань каждый день уже не первую неделю и знал разницу между сплетением, устроенным причудливо, и сплетением, которое живёт. А оно жило. Безымянный фрагмент, найденный на Пёстром близ южной границы, прибывший в партии восемь, развернулся и посмотрел — спокойно, внимательно, как смотрят на того, кого наконец дождались.

Виктор отступил на шаг. Он не испугался — вернее, испугался, но не этого. Он боялся, что если отступит ещё раз, орнамент повернётся следом, и это будет уже ответ, настоящий разговор, а к такому он был не готов.

Он не отступил. Он положил кисть и очень медленно, не отводя взгляда, накрыл обломок ладонью.

Сплетение не шевельнулось. Нити больше не тянулись. Но где-то под ладонью, глубоко в осколке, что-то было — ровное, тёплое и очень, очень терпеливое. Как будто там, внутри, спали.

Виктор постоял так. Потом убрал руку, накрыл обломок салфеткой — как накрывают лицо, чтобы не смотреть, — и пошёл к выходу за пальто.
Лупу он забыл на столе.

Глава 2

На следующий день обломка не было.

В Ателье он приехал, как обычно, к десяти. Дежурный на входе — молодой, сонный, в аккуратно подшитой форменной куртке — кивнул ему, не отрываясь от телефона. В коридоре пахло лаком и чужим кофе, за дверью мастерской гудел пылесос, кто-то наверху негромко ругался на принтер. Обычное утро, каких в Ателье сотни. Ничего не предвещало.

Виктор понял это ещё от порога — по салфетке. Вчера он накрыл ею камень, чтобы не смотреть; ткань легла горкой, повторив изгиб. Сегодня она лежала плоско, как крышка на пустой посуде.

Он снял её.

Под ней лежал кусочек обсидиана. Обычный чёрный осколок неправильной формы — такие продают в ларьках «для интерьера» и поднимают на пляже, не понимая, откуда среди гальки взялось вулканическое стекло. Ни огранки, ни свечения.

Виктор взял его двумя пальцами и не поверил руке. Камень такого размера должен был тянуть граммов на сто; этот весил меньше яблока — будто его вырезали из чего-то, что только притворяется плотным. Осколок был лёгкий, местами гладкий, местами острый, с резкими скосами. Виктор повертел его так и этак, искал трещины, сколы, след старой огранки — ничего. Просто кусок стекла, какие валяются у подножия вулкана и в сувенирной лавке.

Он подержал его на ладони. Потом надел лупу и переключился.

И не увидел ничего.

Не то чтобы камень был серым. Серое бывает: серое — это нити, из которых выцвело всё, кроме привычки существовать. Здесь не было и этого. Ни волокон, ни борозд, ни следа чужих рук, ни даже той тусклой основы, на которой держится любая вещь в мире. Осколок стоял в сплетении комнаты аккуратной дырой: Ткань подходила к его краю и обрывалась — ровно, чисто, будто не вещь вынули из мира, а мир вырезали по контуру вещи.

Он попробовал посмотреть иначе — не на осколок, а на сам разрыв. Ткань вокруг была цела и спокойна, как всегда в этих стенах: она не тянулась к осколку, не боялась его, не пыталась заплестись заново. Она просто кончалась. Так обрывается не порванная нить — у порванной бахромы и узелки, — а нитка, отрезанная ножницами: чисто, ровно, бесповоротно. От прежней вещи не осталось ни следа, ни отпечатка, ни тени, ни памяти — ничего, по чему мир узнал бы, что на этом месте когда-то что-то лежало. Осколок не занял её место. Он его вычеркнул.

Виктор опустил лупу.

Руки у него были холодные, и это казалось странным: холодно ему не было.

Он обошёл комнату по кругу, как обходят место, где что-то случилось. Открыл шкаф — пусто. Проверил полки, ящики, карман пальто на гвозде — жест отчаяния, за который тут же себя упрекнул: обломок был маленьким, но не настолько, чтобы потеряться в кармане.

Потом он сел и заставил себя дышать ровно.

В папке поступления всё осталось как было. «Фрагмент камня с орнаментом, порода не установлена. Найдено на Пёстром пласте, близ южной границы. Поступление от 12 октября, партия 8». Ниже — инвентарный номер, подпись принявшего, подпись Виктора: «на исследование, срок — до особого распоряжения». Бумага была в порядке.

Виктор открыл журнал выдачи.

За вчерашний день — ни одной строки. За позавчерашний — он сам, «принял на исследование». Дальше — чисто. Никто не подписывался, не забирал, не возвращал. Обломок не покидал комнату по документам. А по документам в Ателье ничто не покидало комнату просто так.

Он посмотрел на дверь.

Замок был цел. Не «заперт» — цел: без царапин, без свежих следов, без той лёгкой сбитости, которая остаётся, если в замок лезли хоть раз. Виктор сам повернул ключ вчера вечером, сам слышал, как язычок встал на место, сам потянул ручку, проверяя.

Дежурного он нашёл на посту — того самого, сонного, что кивнул ему утром.

— Дверь в семнадцатой сегодня открывали?

— В девять, — дежурный ответил с обидой, будто его уже в чём-то обвинили. — Заперта была, я проверял. Всё как всегда.

Значит, обломок вышел между двумя поворотами ключа: из запертой комнаты, при закрытом окне, мимо целого замка. Не через дверь. Не через окно — оно на третьем этаже и всё утро было закрыто. Через стену, через пол, сквозь сплетение, которого здесь больше не было, — вот как.

Только чистый стол, плоская салфетка и камушек.

Виктор встал и пошёл за хранителем.

Германа Ильича он нашёл там, где и ожидал, — в архиве, между стеллажами, с картонными карточками в руках. Хранитель архива Ателье №1 был человеком невысоким, сухим и до последней пуговицы аккуратным; он носил очки на шнурке и относился к бумаге так, как другие относятся к вере. Виктору он не слишком доверял — не из неприязни, а по привычке: всякий, кто берёт карточку из архива, — уже немного подозреваемый.

— Герман Ильич, — сказал Виктор. — У меня пропала вещь.

Хранитель поднял голову не сразу. Сначала он вложил карточку на место, потом посмотрел на Виктора, потом — на его руки, будто уличал.

— Вещь, — повторил он. — Из хранилища?

— Из моей комнаты. Из-под исследования.

— Это одно и то же, — сказал Герман Ильич, и в его голосе не было ни капли любезности. — Вещи, выданные под исследование, продолжают числиться за архивом. Какой номер?

Виктор назвал номер.

Хранитель пошёл к своему столу, открыл ящик, достал вторую карточку — ту же самую, но чистую, без пометок Виктора, — и повёл по ней пальцем. Он читал долго, хотя читать было нечего.

— Принята двенадцатого октября, — сказал он наконец. — Партия восемь, поступление с юга. Выдана вам вчера. — Он поднял глаза. — Когда именно вы обнаружили пропажу?

— Сегодня утром.

— Сегодня утром, — повторил Герман Ильич, и в этих двух словах Виктор услышал целый приговор: что спохватиться надо было ещё вчера, что нынешние внештатные не умеют обращаться ни с чем, и что он всё это предвидел.

Они вместе вернулись в комнату.

Хранитель осмотрел стол, шкаф, дверь, замок. Ему не нужно было переключаться — Ткани он не видел, так как был не портным, а обычным хранителем, и его ведомство кончалось там, где кончалась бумага. Но замок он изучил с той же тщательностью, что и опись, и результат ему не понравился.

— Следов нет, — сказал он. — Ключ цел, замок цел, открыт при свидетеле. — Он посмотрел на плоскую салфетку. — И камушек. Это вы его здесь оставили?

— Он лежал. На месте обломка.

— Чего только не лежало, — сухо сказал Герман Ильич, но камушек он всё же взял — двумя пальцами, как берут чужое, — и положил в карман.

— Такого не было, — сказал вдруг Герман Ильич, и это было первое, что он произнёс не по-служебному. — Двадцать девять лет держу архив. Пропадали бумаги. Пропадала карточка, ящик, ключ от ящика. Один раз — целый стеллаж, при переезде. Но чтобы вещь...

— Чтобы вещь вышла сама, — договорил Виктор.

— Вещь не выходит сама, — отрезал Герман Ильич, и сухость вернулась к нему, как форменный пиджак. — Вещь либо есть, либо её украли. А раз следов нет, значит, украли так, что я в это не верю. А значит, я этого не подписывал. Понятно?

Он сказал это Виктору, но смотрел на пустой стол, и Виктор понял, что за всей его канцелярией стоит не только недоверие, но и страх. У Германа Ильича страх был тоже аккуратный, подшитый и лежал в отдельной папке.

— Я доложу руководству, — сказал хранитель, и это была не забота, а мера: он не собирався отвечать за пропажу в одиночку, а Виктор ему в союзники не годился. — Михаила Львовича поставлю в известность лично. А вы пока ничего не трогайте. Ничего, понимаете? Ни журнал, ни карточку, ни шкафы, ничего.

Он ушёл, прямой и оскорблённый, неся в кармане обсидиановый осколок так, будто тот мог его укусить.

Виктор остался один.

Ему вдруг захотелось позвонить Кате. Не рассказать — рассказать он ещё сам не знал что, — а просто услышать, как она дышит в трубку и говорит что-нибудь необязательное и своё: про метро, про кота, про стихи или погоду. Он достал телефон, посмотрел на экран и убрал обратно. Если рассказать, придётся признать, что это не ошибка, не путаница и не сон, а вещь, которая была здесь вчера и теперь бесследно исчезла.

Он сел и стал ждать. Как выяснилось потом, ждать пришлось недолго.

Михаил Львович приехал к обеду и, вопреки обыкновению, один — без свиты, без папок, без того ровного начальственного гудения, с которым глава Ателье входил в любую комнату. Он вошёл, кивнул Виктору, будто они виделись не через месяц после Новой Голландии, а вчера, и первым делом попросил показать место.

Виктор показал.

Михаил смотрел на пустой стол долго. Потом обернулся к хранителю, который стоял у двери и держался за карман, как за больной зуб.

— Камушек, — сказал Михаил.

Герман Ильич извлёк осколок и вложил ему в ладонь — почтительно и в то же время будто избавляясь от ноши.

Михаил подержал его, повернул на свет, взвесил. Он был портным; он умел смотреть. И он не переключился — тоже, как и хранитель, — но что-то в его лице изменилось так, будто он переключился и без глаз.

— Что вы видите? — спросил он, не глядя на Виктора.

— Дырку, — сказал Виктор. — Нитей нет вообще. Ткань подходит к краю и обрывается, как отрезано ножницами.

Михаил молчал долго — так долго, что Виктор успел снова услышать, как наверху ругаются на принтер.

— Откуда он? — спросил Михаил.

Он сказал это не как вопрос, а как подтверждение того, чего он и так не хотел знать. Потом поднял взгляд на Виктора, и в этом взгляде впервые не было ни наставника, ни работодателя, ни человека, подписавшего договор на три страницы.

— Скажите, Виктор, — тихо спросил он. — Когда вы смотрели на этот обломок вчера, вам не показалось, что он на вас смотрит?

Виктор не успел ответить. Михаил уже и не ждал ответа. Он сунул камушек в карман, и пола пиджака оттянулась — тяжелее, чем следовало от такой мелочи.

Михаил не боялся — или умел не показывать, что боится, — и от этого становилось хуже. Виктор видел начальников, которые кричат — Михаил этого не делал. Он просто убрал камушек поближе к себе, как убирают то, что нельзя оставлять на виду, и один раз, коротко, глянул на дверь — заперта ли. Дверь была заперта.

— Хорошо, что вы пошли к Герману Ильичу, — сказал он. — Плохо, что пошли только сегодня. — И, помолчав: — А теперь, боюсь, придётся позвонить, куда мне звонить не хочется.

Глава 3

Михаил запер семнадцатую сам, дважды повернув ключ, и ушёл вперёд — к себе, в кабинет, в другой конец коридора. Сказал на ходу:

— Идите домой. И, если можно, не по прямой.

— Почему не по прямой?

— Это совет.

Виктор не стал спрашивать. Если уж Михаил давал совет, к нему стоило прислушаться. Спешить все же не стал: немного побродил по холу, рассмотрел несколько манекенов и понаблюдал за работой обычных портных, которые так ловко прикрывали истинную деятельность Ателье. И только потом пошёл к лестнице — мимо запертых мастерских.

Кабинет Михаила был по дороге. Дверь — прикрыта, но не плотно: так закрывают, когда торопятся. В щели хватало места для одного глаза.

Виктор не подслушивал. Просто в пустом коридоре слышно всё, а Михаил говорил негромко и всё же разборчиво — потому что говорил не по телефону и не с человеком.

Он стоял у стола, спиной, и держал обычный наперсток. Такие в Ателье держат не просто для антуража: в предметы вплетают условие и говорят через него в случае, если обычная связь может нарушить Акт Плетения.

Михаил положил на наперсток ладонь. Подержал. И сказал — ровно, как диктуют:

— Первое. Да, у меня. — Пауза. — Второе. Тот самый. — Пауза. — Третье. Один внештатный.

Ответа Виктор не услышал: предмет отвечает не голосом и не всем.

Михаил убрал ладонь, постоял ещё секунду и сказал, не оборачиваясь:

— Три вопроса. Вы слышали все три. Ни в одном не спросили, что именно пропало.

— И что это значит?

— Что они уже знают, — сказал Михаил. — Идите домой, Виктор. Завтра в девять, у меня. Не забудьте свой блокнот или чем вы там пользуетесь для набросков. Будете писать и, возможно, рисовать.

— О чем именно придется писать? Да и почему не на бланках Ателье?

— Сейчас нельзя полагаться только лишь на инвентарь Ателье. Мы не можем знать наверняка, что стало причиной. Будете зарисовывать всё, что помните, по минутам: кто входил, где стоял камушек, что вы видели через лупу. Буду собирать информацию от всех, кто касался образца.

— Я в чём-то провинился?

— Вы внештатный, — сказал Михаил. — Для вас отдельные правила.

* * *

К девяти Виктор исписал и набросал четыре листа.

Он описал салфетку. Описал вес: камушек на ладони, легче яблока. Описал Ткань, которая подходила к краю и кончалась, — и тут же понял, что словами этого не передать, а рисунок выходит не совсем правдоподобным. К слову, именно реализм ему давался не совсем просто.

Он честно написал: «нитей нет вообще».

Наброски получился скучные, как отчёт о собственной беспомощности. Виктор подписал их и поставил время.

В кабинете ждали трое: Михаил, Герман Ильич — прямой, будто проглотил линейку, — и человек, которого Виктор узнал не сразу.

— Инспекция Орнамента, — сказал человек. — Штих. Альберт Штих. Мы с вами виделись, у вас на кухне. Был кот.

— Ями, — сказал Виктор.

— Ями, — согласился Штих. — Как он?

— Вполне неплохо, есть хорошо, много спит.

— Хорошо. Пусть спит, — инспектор развязал тесёмки на тонкой канцелярской папке, не спеша, будто давая всем время передумать. — Ателье №1, Санкт-Петербург. Вчера. Обломок оправы, партия восемь, Пёстрый пласт. На месте — камень.

— На месте — камень, — повторил Герман Ильич, не удержавшись.

— Да, — сказал Штих. — Дальше.

И начал читать.

— Ателье №5, Лиссабон. Двадцать один день назад. Чаша из мутного стекла, найдена на Пёстром, южный предел. На месте — камень.

— Ателье №3, Екатеринбург. Шестнадцать дней. Шкатулка, Пёстрый. На месте — камень.

— Ателье №7, Шанхай. Восемь дней. Доска с резным орнаментом, Пёстрый. На месте — камень.

— Ателье №4, Новосибирск. Четыре дня. Гребень, Пёстрый. На месте — камень.

Он закрыл папку, но ладонь с неё не снял.

— Пять, — сказал Виктор.

— Пять.

— Почему я узнаю об этом сегодня? — поинтересовался Михаил.

— Потому что каждое из четырёх Ателье решило, что у него случайность, — сказал Штих. — Список собрался только потому, что в Новосибирске у хранителя сдали нервы и он позвонил сам. До него мир молчал четыре месяца.

— Почему молчал?

— Потому что пропажа — это позор. Разрыв — беда, о разрыве сообщают. А пропажа — вина, о вине молчат и надеются, что пронесёт.

— В Акте Плетения семь правил, — сказал Герман Ильич глухо. — И ни в одном нет слова «украли».

— Именно, — сказал Штих. — но скоро мы собираемся это поправить.

Герман Ильич утвердительно вздохнул.

Виктор смотрел на папку. Тонкая, канцелярская, с тесёмками; в таких хранят переписку, а не дела. И всё же именно в ней лежали пять городов, пять запертых комнат и пять чёрных камушков, которых никто не видел, кроме тех, кто столкнулся с пропажей.

— Все исчезнувшие вещи — с Пёстрого? — спросил он.

Штих поднял на него глаза, и в них не было ни удивления, ни одобрения. Только усталость человека, который этот вопрос задал сам, четыре города и четыре месяца назад.

— Все пять, — сказал он. — Из разных партий, из разных пределов, у разных людей. Пёстрый — большой.

— Кто-то собирает Пёстрый по частям, — сказал Виктор.

— Не спешите, — сказал Штих. — Пока мы знаем только, что у кого-то есть способ войти в запертую комнату, взять вещь и оставить вместо неё мусор. Никакого «зачем». Пять городов — пять «зачем», и ни одного ответа.

Михаил всё это время стоял у окна и молчал. Теперь он заговорил — коротко, будто вычитывал приказ, который сам же и написал:

— Хранилище. Доступ — пять человек вместо двадцати. Вход только вдвоём, оба расписываются, время — в журнал.

— Выдача реликвий, — продолжил он, — остановлена. До особого распоряжения. Это касается и вас, Герман Ильич.

Хранитель кивнул, не поднимая глаз, — так кивают, когда уже не спорят.

— Поступления с Пёстрога — приостановлены. Все, до единого. Пусть будут отписки; пускай искатели думают, что мы сошли с ума.

— А я? — спросил Виктор.

— Внештатным доступ закрыт, — сказал Михаил. — Всем, кроме вас.

— Почему кроме меня?

— Потому что вы единственный свидетель и особо ценный кадр. Запереть вас — значит запереть единственную зацепку.

Виктор ждал, что он скажет ещё что-нибудь: про доверие, про то, что они всё-таки свои. Михаил не сказал ничего. В Ателье вообще не любили лишних слов. Тут обращали внимание на действия и их последствия.

Штих встал и одёрнул пальто.

— И последнее, — сказал он. — Отдельно от дела. Мы вынуждены вернуться к вопросу о вашем Осевом союзе.

Виктор не пошевелился.

— Почему сейчас?

— Потому что тогда было не до вас, — сказал Штих. — Вы были чудом, о котором некогда думать: разрыв, тварь на улице, город на волоске. Мы поставили галочку и ушли спасать людей. А сейчас у нас на руках пять любопытных случаев, и мы больше не можем позволить себе инструмент, которого не понимаем.

— Мы не инструмент.

— Я знаю, — сказал Штих. — И именно поэтому вопрос всё-таки придётся задать.

Он пошёл к двери. У порога остановился.

— Виктор. Один вопрос не по протоколу. Зачем вор оставляет камень?

— Подпись? — сказал Виктор. — Что-то вроде «здесь был я»?

— Мы тоже так думали. Пять городов — пять подписей. — Штих покачал головой. — Но что-то пока не складывается. Он поклонился и спешно направился к выходу.

Герман Ильич направился следом и вышел, не прощаясь.

* * *

Сегодня Катя ждала Виктора у него дома.

И у нее был интересный разговор с Кассианом по телефону.

— Касс, привет. Вопрос дурацкий. Ты помнишь фенечку?

— Какую фенечку?

Она молчала. Он подождал и переспросил уже иначе — с той осторожностью, с какой говорят с человеком, который вот-вот скажет что-то не то:

— Катя? Ты здесь?

— Здесь, — сказала она. — Показалось. Прости.

Фенечка пропала в ту же ночь, когда они вернулись с Хрустального. Только Катя поняла это не сразу, а утром — потянулась за чашкой и увидела, что левое запястье голое. Ни браслета, ни следа от нитей, ни вдавленной полоски. Кожа как кожа.

Они искали полдня. Под кроватью, в ванной, в карманах, в швах зимней куртки, которую Катя не надевала с марта. Виктор сплёл Путеводную нить — та уверенно дотянулась до стены и там кончилась, как тянутся все нити к тому, чего нет.

Потом они решили, что знают ответ. Браслет был защитный, сильный; после такого перехода он мог просто выгореть, как выгорает предохранитель. Жалко — но объяснимо. Кассиану решили не звонить: кому охота признаваться, что сжёг чужую работу. А там стало не до этого — Ателье, пропавшие артефакты, камушек вместо плетения.

И только теперь, услышав в трубке «какую фенечку», Катя поняла, что они ошибались. Виктор помнил каждую нитку. Она помнила каждый узел. Кассиан не помнил ничего — не «забыл», а так, будто браслета никогда не вязали. А ниток в нём была половина его.

— Мы применили его один раз, — тихо сказала Катя, когда Виктор вошёл. — На Хрустальном.

Виктор молчал. Он думал о том же самом: что союз не берёт сил, как все считают. Что он берёт другое. И что про это «другое» им никто не объяснил.

— Завтра спросим Вадима, — сказал он наконец. — Он знает все старые истории.

Катя кивнула и надела кофту с длинными рукавами.

* * *

Вадима он нашёл в мастерской на первом этаже, за разбором партии: на столе лежал ряд мелких вещей, каждая на своей салфетке, рядом — лист учёта и механические часы, которые Вадим поминутно поворачивал к свету, будто в них могло быть написано что-то новое.

— Вадим. Можно вопрос?

— Один. Я с утра не разговариваю.

— Тогда два. Что это за камень, который вор оставляет вместо вещи, — и почему Инспекция вспомнила о нас именно теперь?

Вадим вздохнул, отложил салфетку и посмотрел на часы — не на Виктора.

— Хочешь знать, почему в Инспекции так вцепились в ваш союз? Не из протокола. Я их знал.

— Кого?

— Двоих. Муж и жена, оба прядильщики. Тихони. Дом поставили за Озерками — сами, никого не нанимая, десять лет выстраивали. Яблоню посадили у крыльца, в год, когда сошлись. Кривую — с самого начала кривую, смешную.

Вадим помолчал, будто взвешивал, сколько из этого стоит говорить вслух.

— Однажды им пришлось применить Осевой союз. Не за красоту, не из любопытства. Пришлось — иначе бы не вышло. И Ткань взяла с них этот дом.

— В каком смысле взяла? Он сгорел?

— Стоит. Целёхонек. Только живут в нём другие. Пришли будто ниоткуда, бумаги в порядке, соседи помнят, как эти другие строились, помнят их ребятню во дворе.

— А тех двоих?

— А тех двоих не помнит никто. Ни сосед, ни участковый. Даже собственная дочь.

— Как — дочь?

— Она их помнит. Мать, отца — помнит. А дом, в котором выросла, — нет. Приезжает в гости, чай пьёт, в окно глядит — и не узнаёт. Ей кажется, она всю жизнь прожила в другом.

Виктор открыл было рот и закрыл: вопроса не нашлось.

— А они, — сказал Вадим, — помнят. Оба. Каждый день. Всё, до последней половицы. Она один раз постучалась к тем, что теперь там, — попросила посмотреть сад. Как чужая. Ей разрешили. Постояла под своей яблоней, ветки не тронула, поблагодарила и ушла.

Он поднялся и одёрнул пиджак.

— Я к ним иногда заезжаю. Чай пью. В доме, которого у них нет.

Виктор вышел на лестницу и постоял. Наверху кто-то опять ругался.

«За все нужно платить, но какова цена?».

Глава 4

Катя ночевала у Виктора — вторую ночь подряд.

Накануне Виктор вернулся от Вадима, и весь вечер они говорили о доме за Озерками: о двух загадочных прядильщиках, которых никто не помнит. И о цене, которую они заплатили. Спать легли в третьем часу.

Телефон прозвенел в семь, и это был не будильник. Виктор вылез из-под одеяла, долго его искал. Нашел в кармане пальто, где тот и лежал. Вернулся с ним на кухню, чтобы не будить Катю.

Михаил Львович говорил коротко, как диктуют.

— В девять, Инспекция привозит образец. Второй. Сегодня же.

— Хорошо.

— Будьте у меня.

Он хотел повесить трубку, и Виктор это услышал — по паузе.

— Михаил.

— Да?

— Я буду не один.

Пауза стала длиннее. Виктор уже приготовился объяснять, а объяснять было нечего: он и сам не знал, почему ему так важно привезти её.

— Пусть, — сказал Михаил и положил трубку.

Катя тем временем вышла со спальни и присела на табуретку, закутавшись в его свитер, и смотрела в чашку.

— Меня-то зачем?

— Потому что сегодня привезут второй камень.

— И?

— И потому что я вчера два часа смотрел на первый и не увидел ничего нового, — сказал Виктор. — А ты, я думаю, сможешь открыть для нас что-то новое.

Катя поставила чашку.

Про это они разговаривали только один раз — в ту ночь, когда заметили пропажу фенечки: после разговора с Кассианом, когда молчать стало нельзя, и она рассказала. Рассказала коротко и как о чём-то постыдном: что берёт вещь в руки и та «отзывается». Что не может даже подобрать название для этого ощущения.

Виктор тогда не стал спорить или допытываться. Он сказал: «Значит, у нас обоих теперь по странности». И они об этом больше не вспоминали — до сегодняшнего утра.

— А меня пустят? — спросила Катя.

— Ты сотрудник. Такой же, как я.

— Я ни разу этим не пользовалась.

— Вот и воспользуйся.

* * *

В хол Катя вошла на этот раз первой — просто потому, что Виктор задержался на улице, разговаривая с кем-то по телефону.

Дежурный — молодой, сонный, в аккуратно подшитой форменной куртке — кивнул ей, не отрываясь от своего телефона, точно так же, как кивал Виктору. Её знали. Это было одновременно и приятно, и пугающе.

До назначенного времени еще оставалось около получаса, и Катя не пошла сразу вверх. Она обошла хол — медленно, как обходят выставки.

В зале привычно располагались портновские манекены, они были расставлены так, будто с ними действительно работают: один ближе к свету, другой в тени, третий обколот француз-

скими булавками. На каждом что-нибудь было в работе — пальто, пиджак, аккуратное платье. За дальней дверью стрекотали машинки, и этот стрекот был единственным звуком, который в Ателье никого, по-видимому, не раздражал. Это были не самые современные модели. Катя решила, что в портновскую технику здесь могли быть вплетены условия, но вот каковы задачи — на это она ответить не могла: то ли Ателье на самом деле работало над одеждой, то ли это было просто для вида, чтобы в случае чрезвычайной ситуации притвориться обычной организацией.

Вернулся Виктор, и они пошли наверх вместе.

Прошлый раз Катя шла по этому коридору за ним и смотрела ему в спину. Сегодня она смотрела по сторонам — и Ателье, знакомое до последней ступеньки, казалось чем-то совершенно новым.

Дом был устроен как жилой и жил как рабочий: пахло пропаренной шерстью, мылом, машинным маслом и немного клеем — все это собиралось в особенный букет, который нельзя было спутать ни с чем. Двери в мастерские шли сплошь без окон и все были заперты. Свет падал сверху, из-под потолка, а не из комнат. И тишина за этими дверями держалась особенная — не пустая, а выдержанная, как в библиотеке.

У семнадцатой она замедлила шаг почти против воли.

Дверь была заперта, и поверх замка через косяк шла приклеенная полоска бумаги. Так обычно запечатывают место преступления.

Она пошла дальше.

* * *

В кабинете ждали трое.

Михаил за столом, Герман Ильич у стены с папкой под рукой и человек в строгом костюме.

Виктору этот человек был знаком. Кате — нет.

— Альберт Штих, Инспекция Ормента, — сказал человек и поднялся. Виктору он кивнул, как кивают вчерашнему знакомому. На Катю посмотрел так, как обычно смотрят на незнакомых людей.

— Я вас не помню, — сказала Катя.

— И не должны. Мы не встречались.

Он сел так же ровно, как встал.

— Виктор. Листы.

Виктор положил на стол четыре листа — камень, дырка, разрез, — исписанных и набросанных за два вечера. Михаил взял их, перелистал, задержался на том, где Виктор пытался изобразить разрыв и выходило не совсем то, что он ожидал, — отложил листы в сторону, ничего не сказав.

Штих снял со стола плоскую жестяную коробку — в таких дома держат пуговицы, — откинул крышку и повернул её к ним.

В коробке, на двух отдельных салфетках, лежали два камня.

— Петербургский, — сказал Штих. — И новосибирский.

Катя посмотрела.

Такого камня она в руках не держала. Знала его только по рисунку: Виктор рисовал его целый вечер, злился, что выходит непохоже, и сминал листы. На рисунке камень был глаже и правильнее. В коробке лежал обычный, будто только что с пляжа.

— Новосибирский пришёл вчера, — сказал Штих. — Оттуда позвонили первыми — и сразу прислали, без запроса. Тамошний хранитель сам повёз его в аэропорт: курьеру не доверил.

— И вы привезли его сюда, — сказала Катя.

— Не в Инспекцию, а сюда. — Штих посмотрел на неё внимательно. — Мне нужно, чтобы оба камня осмотрели сотрудники, которые видели первый.

— Вы про меня, — сказала Катя.

— Я в основном про Виктора.

— Но и про меня, — повторила она. — Иначе вы бы не сказали «сотрудники».

Штих не стал спорить. Он аккуратно, двумя пальцами, подвинул коробку по столу — к ней.

— Расскажите.

Катя молчала. Ей вдруг стало холодно, хотя в кабинете было тепло: одно дело — чувствовать про себя, другое — когда тебя об этом просят рассказать вслух, при посторонних, в кабинете, где всё, что ты скажешь, уйдёт куда-то в отчёт.

Она посмотрела на Виктора. Виктор коротко кивнул — не «соглашайся», а «я здесь».

— Ладно, — сказала Катя.

* * *

Названия для своей способности у Кати не было. Это было бы хуже самого дела: пока она молчала, это оставалось странностью, почти привычкой, от которой не бывает страшно.

Она чувствовала не как Виктор. Виктор переключался и видел: мир расходился на нити, у каждой вещи был свой узор, и узор этот вёл себя по-разному — одни нити стояли, другие тянулись, третьи прятались. Он научился узнавать в этом звук: у одной вещи шорох, у другой гул, у третьей почти пение. Кате ничего не нужно было видеть. Ей нужно было взять вещь в руки и поддержать — и тогда что-то в ней самой отзывалось, как отзывается струна на камертон.

После Хрустального это чувство стало сильнее.

Названия не было. Придумать название означало признать, что оно есть. Так что Катя не называла это никак — ни вслух, ни про себя; про себя она говорила просто: сходство.

— Можно? — спросила она.

— Одну, — сказал Штих. — Потом вторую. Потом, если понадобится, обе.

— Мне понадобится обе.

— Хорошо.

Она взяла петербургский.

И ничего не слышала.

Долго она думала, что ей кажется. Потом испугалась. Потом проверила на всём, что было под рукой: на двух чашках из одного сервиза — отзывались; на ключах от одной квартиры — отзывались; на камне — не отзывался ничем, и это её сначала успокоило, ведь что взять с камней, которые лежат рядом без всякой причины.

Катя напряглась: камень был холодным, лёгким не по размеру и приятно гладким там, где прошёл скол. В руке он лежал как лежат все камни. Но то, что отзывалось всегда — чашка ли, ключ, чужое письмо, — не отзывалось. Она держала пустоту. Как будто взяла не камень, а место, где лежал камень.

Катя поддержала его чуть дольше, чем собиралась, и положила обратно в ту же впадинку.

Потом взяла новосибирский. Другой — тот же холод, та же лёгкость, — и то же молчание.

— Ну? — спросил Михаил.

— Ничего, — сказала Катя.

— Совсем?

— Совсем. Они не ощущаются. Ни один из них.

Штих не пошевелился. В его лице не было разочарования — только та же усталость человека, который проверил много способов и все их знает наперёд.

— Хорошо, — сказал он. — Тогда обе.

Катя взяла петербургский в правую руку, новосибирский — в левую.

И вот тут отзывалось.

Не камни. Камни так и молчали, оба, каждый своим отсутствием. Отозвалась она сама: в ней что-то взяло один тон и встало на него — легко, уверенно, будто кто-то, наконец, повернул колки на гитаре.

Она посмотрела на правую руку. Потом на левую.

Один тон. Не похожий — один.

Катя развела руки: тон не изменился. Светла: не изменился. Переложила камни крест-накрест, поменяла местами, взяла оба в одну ладонь, положила на стол и коснулась сначала одного, потом другого, потом обоих разом — тон стоял ровно, как натянутая струна, и не сдвинулся ни на сколько, как ни двигай.

Она попробовала ещё раз, уже нарочно неаккуратно: взяла один в кулак, второй оставила лежать. Тон был. Отняла руку от одного — тон пропал, как пропадает звук, когда накрываешь струну ладонью. Она убрала ладонь — тон вернулся.

— Одинаково, — сказала она вслух, и голос вышел суше, чем ей хотелось.

Виктор стоял у окна и смотрел не на неё, а на её руки.

— Что одинаково?

— Всё. — Катя глядела на свои руки. — Когда я беру вещь, я чувствую, что она такое. Если рядом вторая такая же, я слышу, что они одинаковые. Эти — одинаковые. Не похожие, а одни и те же. Как бусины с одной нитки.

— Осколки, — сказал Штих.

— Камни, — сказала Катя. — «Осколки» — это уже вывод. Я вам говорю только то, что слышу: они из одного.

Штих помолчал.

— В Лиссабоне отказали, сославшись на регламент, — сказал он наконец. — Шанхай прислал фотографии. Екатеринбург прислал половину и вопрос, зачем. Новосибирск единственный прислал образец. И они все же сошлись. Вы понимаете, что это значит?

— Что у вас плохо с международной почтой.

— Что сходятся два конца света, — сказал Штих, не приняв шуток. — Если камни из одного места, то и то, что они заменили...

— Тоже из одного, — договорил Виктор. — Из одного целого. Собранное или разобранное — это как посмотреть, — но из одного.

Штих посмотрел на него долго.

— В прошлый раз вы предложили подпись, — сказал он. — Я её не принял. Теперь вы предлагаете целое, которого никто не видел: одно, разобранное на части. Это шаг вперёд. Но шаг в темноту.

— А если это и правда одно?

— Тогда я хочу знать, где вторая половина, а не как она называется.

— Камни — из одного, — сказала Катя. — Это сказала я.

— Знаю. Я записал. — Он повернулся к ней. — И я вам верю. Но у меня в работе то, что я от вас слышу, обростёт ещё десятью объяснениями, и все десять придётся проверять.

— Проверяйте, — сказала Катя. — Только учтите: я и сама не понимаю, что чувствую. Я знаю только, что это так.

Михаил встал.

— Достаточно. — сказал он закрывая коробку.

И Катя вдруг поняла, что забирает он её не от недоверия к Инспекции, а от незнания, что с этим делать дальше. И не хочет, чтобы это выяснилось при ней.

— Оба в хранилище, — сказал он. — До особого распоряжения. Я не хочу, чтобы они ночевали у кого-то в кармане, как это уже однажды вышло.

Герман Ильич молча принял коробку и вышел, не прощаясь.

Штих застегнул пальто.

— И последнее, — сказал он. — В прошлый раз я уходил отсюда с вопросом и ответа не получил. Сегодня вопросов два. Второй — вы.

— Что это значит? — спросила Катя.

— Что в моих бумагах вы теперь официально отражены. — Он сказал это без нажима, даже будто извиняясь. — Мои бумаги вас не касаются. Но будут касаться коллег, которые будут их читать.

— Мы вам не отчёт.

— Знаю. Поэтому я отразил ситуацию без лишних деталей.

Он пошёл к двери и на пороге остановился.

— Я не собираюсь все о вас записывать. Мне нужно другое. Чтобы вы однажды сами сказали: «мы можем вот это». И желательно до того, как это понадобится.

— А если мы скажем «не можем»?

— Тогда я очень внимательно послушаю, как вы это скажете, — ответил Штих и вышел.

Михаил остался. Он подождал, пока за Штихом закроется дверь, и сказал — не Кате, а куда-то в сторону окна:

— По вам до сих пор не было ни одного дела.

— Я знаю.

— Два месяца вы у нас числились и за это время не сделали ничего. Вас это, наверное, устраивало.

— Меня это устраивало, — сказала Катя.

— А теперь есть дело. — Он поднял на неё глаза. — Это меняет не то, что вы делаете. Это меняет то, за что вы отвечаете. Раньше — за то, что сделали. Теперь — и за то, что видели.

— Разницы я не понимаю.

— Поймёте, — сказал Михаил. — Когда придётся объяснять, почему вы видели и промолчали.

Он вышел. Дверь он закрыл тихо, как закрывают в комнату, в которой кто-то спит.

* * *

Вадима Катя нашла на первом этаже.

Виктор пошёл за Германом Ильичом — что-то ещё уточнить про опись, — а она спустилась сама.

Мастерская Вадима была завалена так, как завалены только те комнаты, где разбирают привезённое: ящики, стружка, на верстаке — ряд мелких вещей, каждая на своей салфетке. Рядом лежали механические часы, заведённые и никем не тронутые. Пахло пропаренной шерстью сильнее, чем где-либо в Ателье.

— Вадим. Вы рассказывали Виктору про дом за Озерками. Где он?

— Зачем?

— Посмотреть.

— Смотреть там нечего. Дом как дом.

— Вадим.

Он помолчал. Потом отогнул на верстаке угол учётной ведомости и написал на обороте — улицу, номер, направление, вид транспорта. Почерк был крупный и ровный, как у человека, который пишет редко, но всегда одно и то же.

— Едешь до Озерков, — сказал он, не поднимая глаз, — потом автобусом, потом пешком. Дом третий от поворота, с зелёной крышей. Яблоня у крыльца, кривая — не спутаешь.

— Кто там живёт?

— Ивановы, — сказал Вадим. — Не Ивановы они, конечно. Но там их все зовут Ивановыми, и они не поправляют.

— А те двое?

— А те двое нигде не живут. — Он посмотрел на часы. — У них есть дом, и этот дом не их. Так тоже бывает.

Катя уже взялась за ручку, когда он сказал вслед:

— Катя.

Она обернулась.

— Если увидишь там женщину в сером пальто, — сказал Вадим, — не подходи. Она не сумасшедшая. Она точно не сумасшедшая — и именно поэтому не подходи.

* * *

До Озерков Катя доехала к полудню, дальше — автобусом, потом пешком, по улицам, которые ещё не решили, хотят они быть дачей или городом: тут новый забор, там покосившийся сруб, у калитки машина под одеялом, чтобы не замёрзла, кто-то жёг листья, хоть давно было нельзя. Над всем этим висел тот ровный серый свет, в котором любая вещь выглядит старше, чем есть.

Дом она нашла сразу.

Третий от поворота, серый, с зелёной крышей. Старый сруб, поверх которого положен сайдинг — аккуратно, без пузырей. Как кладут люди, которые не собираются отсюда уезжать. Рамы уже новые, пластиковые. Хороший дом. Дом, за которым смотрят.

В саду рядом с домом росла яблоня. В ее искривленной фигуре было что-то манящее и притягательное.

Катя не знала, зачем ей это, но кривизна у деревьев бывает двух сортов. Одна — от ветра, оттого что дерево росло, куда ему велели, и всю жизнь клонилось, и это видно по стволу, который идёт низко и вбок. Другая — оттого, что дерево с самого начала решило расти так, как ему хочется: короткий, сбитый ствол, а дальше — во все стороны разом, широко и упрямо, так что всё дерево кажется нарисованным одним росчерком, нарочно кривым, чтобы вышло смешно.

У этого дерева кривизна была второго сорта.

За забором соседнего двора возилась женщина — пожилая, в ватнике, с ведром.

— Заблудились?

— Нет. Любуюсь.

— На что тут любоваться, — сказала женщина, но без обиды, и поставила ведро.

— Вы давно здесь живёте?

— Тридцать девять лет. — Она сказала это так, как говорят цифру, которую сами себе повторяют каждый год, потому что не верят. — Считаю. Приехали с мужем, стройка была, я думала — год. Тридцать девять.

— А этот дом?

— А что этот дом? — Женщина посмотрела на него, как смотрят на давно наскучившую вещь. — Ивановых. Лет восемь, как въехали. Хорошие люди. Он крыльцо год ладил, я всё говорила: да купи ты готовое, — нет, сам.

— А до них кто жил?

— Никого.

Катя не сразу поняла, что ответ уже закончился.

— То есть как никого?

— А так. — Женщина подняла ведро, потом опустила обратно. — Пусто было. Поле. Ну, кусты. Я оттуда воду носила, тут колонка была.

Катя смотрела на яблоню.

Яблоня была старая. Кора лопалась и срасталась узлом, у самой земли чернела трещина, заросшая почти до конца, с одного боку торчал сухой сук, который не спилили, потому что жалко. Восемь лет такому дереву не бывает: восьмилетняя яблоня — это прут с четырьмя ветками. Этой было двадцать пять, а то и больше — её посадили задолго до того, как тут что-то появилось, и посадили, не собираясь никуда уезжать.

Она подошла к забору и, ни на что не глядя, положила ладонь на угол дома — на брёвна, там, где старый сруб выглядывал из-под сайдинга у самой земли.

Она не умела смотреть Ткань также хорошо, как и Виктор, и не пыталась. Ей нужно было другое: подержать, подождать и услышать.

Дом отозвался.

Он был из двух рук. Катя не знала, можно ли это объяснить словами, и не собиралась: одна рука клала бревно тяжело, на совесть, с лишним запасом — так делают то, что должно пережить автора; другая шла легко и часто ошибалась в мелочах, и ошибки оставались, и в них была вся прелесть. Один венец выведен криво, и это никому не мешало уже сколько-то лет и не будет мешать. Две руки, две манеры, и они перекликались по всему дому — в стене, в крыльце, в том, как сидит наличник, — перекликались так, как перекликаются две партии в одной работе, когда один начинает, а другой подхватывает не по правилу, а по своему.

Две руки. Одна работа. Так строят не подрядчики и не наёмные.

Так строят вдвоём.

Катя стояла, не убирая ладони, и слушала, как дом помнит своих мастеров — в каждом венце, в каждой ошибке, в суке, который не спилили.

Она убрала руку.

— Это не байка, — сказала она вслух, тихо, для себя. — Это то же самое. Только больше.

И тут на улице появилась женщина.

Она шла от автобусной остановки, не спеша, с сумкой-авоськой, в сером пальто — давно сером, из тех, что не стареют, а только выцветают в свой окончательный цвет. Невысокая, седая, с прямой спиной, которую держат уже не по привычке, а из упрямства.

Из дома вышла хозяйка — с тазом, вытряхнуть половик. Увидела чужую женщину у угла, постояла, глядя на неё, и ушла, не сказав ни слова: не из грубости — так уходят не от чужого, а от того, о чём уже давно всё решено и говорить нечего.

Женщина в сером не подошла к калитке. Она стояла на улице, у самого угла, откуда через штaketник видно сад, и смотрела — на дом, на крыльцо, на яблоню. Стояла долго и ничего не делала, как стоят в дождь под чужим навесом, когда просто ждут, пока кончится. Потом подняла глаза — вверх, сквозь ветки, на серое небо, — и сказала негромко, никому:

— Спасибо.

И пошла назад. Мимо Кати, к остановке, — не глянув. И в этом было больше, чем в любом взгляде.

Катя не подошла. Она вспомнила Вадима: «Она не сумасшедшая. И именно поэтому не подходи». Хотя вернее было бы другое: она подошла бы, если бы знала, что сказать. А сказать было нечего. «Я знаю про вас» — это была бы неправда. Она не знала про них. Она знала про дом.

Женщина с ведром всё ещё стояла у своего забора.

— Кто это?

— Да кто её знает, — сказала женщина. — Говорит, тут сад был раньше. А сад и есть, никуда не девался. — Она посмотрела вслед серому пальто. — Странная. Безобидная, и странная.

— А чей сад?

— Как чей? — Женщина удивилась. — Хозяйский.

Катя поблагодарила и пошла к остановке. Автобус пришёл через двадцать минут, пустой. Она села у окна и всю дорогу смотрела, как за стеклом мелькают чужие заборы, и в одном месте, на повороте, пронеслась кривая яблоня — и исчезла.

* * *

Виктор ждал её дома.

Он слушал, не перебивая, — так он слушал в детстве, когда ему рассказывали что-нибудь, чего нельзя было пропустить. Катя говорила и сама чувствовала, что говорит сухо, короткими фразами, как отчитывается; так выходило лучше, чем если бы она старалась.

— Соседка живёт там тридцать девять лет, — сказала она. — Помнит, как Иванов все там наладил. И говорит: до них было пусто.

— Пусто, — повторил Виктор.

— Поле. Кусты. Колонка. — Катя помолчала. — Яблоня в двадцать пять лет растёт у дома, которого восемь лет как не было.

Виктор поднялся и подошёл к окну. За окном шёл дождь — тот же самый, что и до её рассказа. И от этого почему-то становилось хуже: мир не замечал, что в нём что-то не сходится.

— Значит, Вадим не соврал, — сказал он.

— Он и не соврал. Он не врёт — он просто не говорит всего сразу. История была правдой, а адрес я у него выпросила сама.

— И что теперь?

— Теперь я знаю, что это правда. — Катя смотрела на свои руки. — Дом из двух рук, Вик. Я до него дотронулась. Там нет ни одного венца, который делал бы один человек. Они строили вдвоём, всю жизнь, — и дом это помнит. Он помнит их обоих. Каждую ошибку, каждое «да ладно, и так сойдёт».

— А мир?

— А мир — нет. — Она подняла глаза. — Соседка смотрит им в окна и говорит «пусто было». Не врёт, не темнит — просто не помнит. И врать ей незачем: она и не догадывается, что тут что-то было.

Виктор молчал.

Он думал о том, что это уже не притча и не байка, а то же самое, что с фенечкой, — только про дом. Союз забрал у Кассиана не браслет, а сам факт, что браслет был. А здесь у соседки забрали не память о доме, а дом — оставив его стоять. И где-то сейчас живут двое, которые десять лет складывали эти брёвна, и у них есть адрес, стул, кровать и чайник, — и ни одна вещь в том доме им не отвечает.

Он ещё подумал о том, что надо бы выяснить, что с ними стало. Но тут же понял, что этого не выяснит никто. Их нет в бумагах. Их нет в памяти. Единственный способ узнать — приехать и спросить, а спрашивать некого: те, кто помнит, молчат, а те, кто не помнит, ничего не знают.

— А камни? — спросил он.

— Камни одинаковые.

— Одинаковые, — сказал Виктор. — Из одного куска, расколотого на...

— Не «расколотого», — перебила Катя. — Ты всё время хочешь, чтобы у этого была картинка. Не расколотого. Я говорю «одни и те же», а ты слышишь «одинаковые».

— А в чём разница?

— Одинаковыми бывают копии, — сказала Катя. — Оттиски, штамп, пуговицы из партии. Возьми две монеты одного года — они одинаковые, но каждая из своего металла. А эти двое — из одного. Это не сходство, Вик. Это одна вещь, разрезанная на части, или отлитая одним разом, или... — Она запнулась и замолчала.

— Или?

— Или они оба — обрезки, — сказала она неохотно. — Я не хочу это говорить, потому что не знаю, что это значит. Но когда я их держала, у меня было чувство, что я держу не камни, а края.

Виктор стал очень внимательно смотреть на неё.

— Из чего?

— Вот этого я не знаю, — сказала Катя. — И очень надеюсь, что никогда не узнаю.

Он отвернулся к окну и сказал медленно:

— Значит, и то, что они заменили, — из одного. Из одного целого.

— Вик.

— Что?

— Это ты сейчас сказал, — произнесла Катя. — Не я. Я сказала, что камни одни и те же и что у них нет нитей. Всё остальное — твоя картинка.

Он это знал. И почти радовался, потому что картинка была хорошая: она объясняла сразу всё. Пять городов, потому что части разбросаны по свету; только Пёстрый, потому что оттуда родом каждая из них; и вор не берёт случайное, а берёт по списку, — значит, у него есть список. Одно целое, разобранное на части и спрятанное у разных людей, которые даже не знают друг о друге. Кто-то терпеливо собирает.

Виктор уже знал, сколько стоят хорошие картинки.

— Штих говорил про союз, — сказал он, не отходя от окна.

— Ох уж мне этот Штих.

— Он сказал: «до того, как понадобится». В первый раз он так не говорил.

Катя не ответила. Ей и нечего было ответить: если Инспекция однажды решит, что пора посмотреть, что они умеют, — отказываться будет сложно, а соглашаться нельзя.

Вторая папка лежала у Виктора в столе, за бумагами. В ней был «Город Отражений» — комикс, который они придумали вдвоём ещё в кофейне, и договор с издательством, пришедший по почте три недели назад, и первые листы пилотного издания. Никто, кроме них двоих, не сказал бы вслух, что это тут при чём. Но они оба знали: платить будут им.

Катя посмотрела на стол. Виктор тоже.

— Не сейчас, — сказала она.

— Не сейчас, — согласился он, и оба сделали вид, что это решение, а не отсрочка.

Ями вошёл в комнату так, как входят коты: будто он тут и был, а это они только что заметили. Запрыгнул на подоконник, потоптался, посмотрел на улицу — на дождь, на чужие тёмные окна, на всё это, чего он всё равно не понимал, — и улёгся, свесив хвост.

Катя погладила его. Он не перевернулся на спину, как обычно, и не замурчал, а только повёл ухом — мол, гладь, если тебе надо. Она убрала руку. Всего несколько дней назад она бы сказала: кот почувствовал, что с ней что-то не так. Теперь она знала, что это не так устроено: кот просто не видел причины радоваться.